

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆



ФЕДОР
ДОСТОЕВСКИЙ



Дневник писателя



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Д70

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использована репродукция портрета
Ф. М. Достоевского работы художника *В. Г. Перова*

Достоевский, Федор Михайлович.

Д70 Дневник писателя / Федор Достоевский. — Москва :
Эксмо, 2022. — 672 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-173143-4

Ф. М. Достоевский живо откликался на все значительные события, происходящие в современном ему мире, в своем «Дневнике писателя», обсуждая самые разные темы: от глубоких философских и нравственных до анализа внешней политики разных стран. «Дневник писателя» актуален и интересен и в наше время благодаря удивительной проницательности автора, обнажающего суть явлений.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

«ОТЧЕТ О ВИДЕННОМ, СЛЫШАННОМ И ПРОЧИТАННОМ»

Литературная деятельность Достоевского была сопряжена с «тоской по текущему», другими словами, с глубоким интересом к современным событиям, характерным явлениям, выразительным деталям окружавшей его действительности. Наблюдая за всеми оттенками развития «живой жизни», он с неослабным вниманием следил за отражением ее проявлений в русской и иностранной периодике. По признанию очевидцев, писатель ежедневно просматривал газеты и журналы «до последней литеры», стремясь уловить в богатом многообразии значительных и мелких фактов их внутреннее единство, социально-психологические основания, духовно-нравственную суть, философско-исторический смысл.

Такая потребность диктовалась не только своеобразием романистики Достоевского, в которой органично сплелись вечные темы и злободневные проблемы, мировые вопросы и узнаваемые детали быта, высокая художественность и острая публицистичность. Писатель всегда испытывал страстное желание говорить напрямую с читателем, непосредственно влиять на ход социального развития, вносить незамедлительный вклад в улучшение отношений между людьми. Еще в издаваемых им совместно с братом в 1860-х годах журналах «Время» и «Эпоха» печатались его отдельные художественно-публицистические очерки и фельетоны.

Однако Достоевский намеревался выпускать сначала единый журнал «Записная книга», а затем — «нечто вроде газеты». Эти замыслы частично осуществились в

1873 году, когда в редактируемом им в это время журнале князя В. П. Мещерского «Гражданин» стали печататься первые главы «Дневника писателя». Но заданные рамки еженедельника и зависимость от издателя в какой-то степени ограничивали как тематическую направленность статей Достоевского, так и их идейное содержание. И вполне естественно, что он стремился к большей свободе в освещении «бездны тем», волновавших его, к раскованной беседе с читателями прямо от своего лица, не прибегая к услугам редакционных и издательских посредников.

С 1876 по 1881 год (с двухлетним перерывом, занятым работой над «Братьями Карамазовыми») Достоевский выпускал «Дневник писателя» уже как самостоятельное издание, выходившее, как правило, раз в месяц отдельными номерами, объемом от полутора до двух листов (по шестнадцать страниц в листе) каждый. В предуведомляющем объявлении, появившемся в петербургских газетах, он разъяснял: «Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном».

И в самом деле, на его страницах автор заводит пристрастный разговор, перемежающийся с личными воспоминаниями, о разных вещах и внешне вроде бы совсем не соприкасающихся сферах — о внешней и внутренней политике, аграрных отношениях и земельной собственности, развитии промышленности и торговли, научных открытиях и военных действиях. Внимание писателя привлекают железнодорожные катастрофы, судебные процессы, увлечение интеллигенции спиритизмом, распространение самоубийств среди молодежи. Его беспокоит распад семейных связей, разрыв между различными условиями, торжество «золотого мешка», эпидемия пьянства, искажение русского языка и многие другие болезненные вопросы. Перед читателем открывается широчайшая историческая панорама пореформенной России: именитые сановники и неукорененные мещане, разорившиеся помещики и преуспевающие юристы, консерваторы и либералы, бывшие петрашевцы и народившиеся анархисты,

смиранные крестьяне и самодовольные буржуа. Читатель знакомится и с необычными суждениями автора о личности и творчестве Пушкина, Некрасова, Толстого...

Однако «Дневник писателя» — не многокрасочная фотография и не калейдоскоп постоянно сменяющих друг друга пестрых фактов и непересекающихся тем. В нем есть свои закономерности, имеющие первостепенное значение. Взять, к примеру, «детскую тему», дающую к тому же наглядное представление о стиле и методах публицистической работы автора. Присутствуя на рождественской елке в клубе художников, Достоевский внимательно всматривается в лица и манеры, изучает психологию мальчиков и девочек разного возраста. Но его наиконкретнейшие наблюдения тотчас же вырастают до пронизательных размышлений об облегченной педагогике, «обжорливой младости», «праве на бесчестье». Одновременно он не может не сравнивать поведение так называемых благополучных подростков с судьбами их обездоленных сверстников, живущих среди пьянства и разврата, гибнущих от голода и лишений. Писатель посещает воспитательный дом, колонию малолетних преступников, просиживает целыми днями на судебных заседаниях, где защищают интересы детей. Его страстные, психологически и нравственно обоснованные выступления в защиту их интересов не только помогают иной раз вынести более справедливый приговор, как в случае с молодой беременной женщиной, в состоянии аффекта столкнувшейся с четвертого этажа шестилетнюю падчерицу, но и подвигают к раздумьям о взаимоотношениях «отцов» и «детей», об ответственности общества за воспитание подрастающего поколения, от которого зависит будущее России.

Это характерное для каждой страницы «Дневника» столкновение личного и социального, конкретного и общего можно пронаблюдать — по тематическому контрасту — и в совсем иной области авторских рассуждений, рассуждений о внешней политике: о неприемлемости усиления милитаризма бисмарковской Германии, о коварстве правительственных действий Англии и Австрии и, в первую очередь, о необходимости деятельной помо-

щи России угнетенным славянам. В 1875—1876 годах Герцеговина и Босния, а затем Болгария и Сербия восстали против турецкого ига. Государственные власти, испытывая давление европейской дипломатии, поначалу не решались выступить открыто на стороне восставших. В обществе же разрасталось добровольческое движение, в котором приняли участие представители всех сословий. Большую роль в этом движении играл славянский благотворительный комитет, организованный для помощи братским народам. Его членом был и Достоевский, неустанно призывавший со страниц «Дневника» к активной поддержке национально-освободительной борьбы славян и последовательно освещавший ее развитие. С точностью военных сводок он сообщает о ходе боевых операций, со знанием дела обсуждает замыслы европейских правительств или насущные проблемы тактики и вооружения, с глубокой болью рассказывает о мучительных страданиях болгар, особенно женщин и детей, с сердечной гордостью повествует о героизме и благородстве добровольцев, о жертвованиях русского народа в пользу угнетенных славян. Вместе с тем готовность к бескорыстной помощи, объединявшей людей поверх социальных барьеров и сословных границ и укреплявшей их души сознанием самопожертвования, наводила Достоевского на размышления о том, что Россия в будущем сможет сказать миру «великое слово», способное служить «заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету». Осмысливая конкретные факты участия России в освободительной войне на Балканах, писатель приходит ко все более обобщающим выводам: «Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут».

И о чем бы ни заводил речь автор «Дневника» — будь

то общество покровительства животным или литературные типы, замученный солдат или добрая няня, кукольное поведение дипломатов или игривые манеры адвокатов, кровавая реальность террористических действий или утопические мечтания о «золотом веке», — его мысль всегда обогащает текущие факты глубинными ассоциациями и аналогиями, включает их в главные направления развития культуры и цивилизации, истории и идеологии, общественных противоречий и идейных разногласий. Причем при освещении столь разнородных тем на предельно конкретном и одновременно общечеловеческом уровне Достоевский органично соединял различные стили и жанры, строгую логику и художественные образы, «наивную обнаженность иной мысли» и конкретные диалогические построения, что позволяло передать всю сложность и неоднородность рассматриваемой проблематики. В самой же этой проблематике он стремился определить ее этическую сущность, а также «отыскать и указать, по возможности, нашу национальную и народную точку зрения». По мнению Достоевского, всякое явление современной действительности должно рассматриваться сквозь призму опыта прошлого, не переставшего оказывать свое воздействие на настоящее через те или иные традиции. И чем значительнее национальное, историческое и общечеловеческое понимание злободневных текущих задач, тем убедительнее их сегодняшнее решение.

Такая работа, кажущаяся непосильной в наше время и целой редакции, полностью захватывала Достоевского и требовала от него огромного напряжения физических и духовных сил. Ведь ему одному необходимо было собирать материал, тщательно готовить его, составлять, уточнять, успеть издать его в срок, уложившись в заданный объем. Чрезвычайная добросовестность заставляла Достоевского по нескольку раз переписывать черновики, самого рассчитывать количество печатных строк и страниц. Боясь за судьбу рукописей, он сдавал их в типографию лично или передавал через жену, незаменимую помощницу, которая активно участвовала в подготовке «Дневника писателя» и в его распространении. После каждого

выпуска Достоевский, по свидетельству очевидца, «несколько дней отдыхал душою и телом... наслаждаясь успехом...».

А успех действительно был огромным. Интерес читающей публики к столь оригинальному изданию с каждым выпуском все возрастал. Тираж «Дневника», расходившегося по подписке и в розничной продаже, постепенно увеличился до шести тысяч экземпляров. К голосу автора «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», авторитетного писателя, находившегося в расцвете своей духовной мощи и таланта, прислушивались представители разных слоев мыслящего русского общества. Его выступления, будившие в согражданах чувства совести, чести и справедливости, воспринимались как учительное и пророческое слово.

В адрес Достоевского стала поступать читательская почта. «К концу первого года издания «Дневника», — вспоминает метранпаж М. А. Александров, — между Федором Михайловичем и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общение, беспримерное у нас на Руси: его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за доставление прекрасной моральной пищи в виде «Дневника писателя». Некоторые говорили, что они читают его «Дневник» с благоговением, как Священное Писание; на него смотрели одни как на духовного наставника, другие как на оракула и просили его разрешить их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени».

Многие корреспонденты видели в авторе не только талантливого писателя, но и мудрого человека с чутким и отзывчивым сердцем, способного дать единственно правильный совет, уберечь от непоправимых поступков, обогреть душу. «Я скажу прямо, — писала ему революционерка-народница А. П. Корба, — что я жду от Вас помощи, не имея на то права, разве только право страждущего от боли; а у меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить Вас стонами, то потому, что знаю, что лучшего врача не найду». Другая читательница, благодарная заступничеству писателя за незаслу-

женно обиженных детей, признавалась: «Если бы можно было сейчас, сию минуту очутиться возле Вас, с какой радостью я обняла бы Вас, Федор Михайлович, за Ваш февральский «Дневник». Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение, что спасибо Вам. Мать». А вот еще одно трогательное признание, сделанное подростком: «Для чего я Вам пишу, не знаю, меня тянет как-то безотчетно Вам написать, и бывает всякий раз, как прочитаю Ваш «Дневник», — я чувствую Вас как бы родным, но высказать свои мысли — не умею».

Подобные отклики доставляли Достоевскому глубокое моральное удовлетворение, поддерживали силы в многотрудной работе. Впрочем, отклики были самые разные и содержали, например, просьбы об устройстве на службу, оказании материальной помощи, оценке рукописи начинающего писателя. Очень часто читатели обращали внимание автора на те или иные факты и вступали с ним в серьезный разговор, влиявший на подвижность литературной формы и стиля «Дневника». Достоевский нередко цитирует получаемые письма, анализирует их, соглашается или спорит с высказываемыми мнениями. Оценивая нравственное и творческое значение непосредственного общения с читателями, он замечал: «Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие себе угодно похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, — как бы более правды, как бы более в самом деле».

Что же касается профессиональных отзывов в печати, опосредованных идейными пристрастиями, то и в них, несмотря на имевшиеся разногласия, отдавалась дань гражданской самоотверженности, благородству намерений и проникновенности суждений автора «Дневника». Либеральные, консервативные, народно-демократические органы отмечали «высокую гуманность», «горячую веру в необъятную мощь народа» и «неподдельное сочувствие к его страданиям», «оригинальные, глубокие и светлые мысли» Достоевского. Правда, нередко раздава-

лись голоса, что он, напротив, не знает народа, не понимает молодежи, не уважает дворянства и возводит «абсурдные обвинения» на русское общество. Независимость позиции озадачивала журналистов различных направлений, противоречиво менявших свое отношение к изданию. Внимательно изучая сочувственные и полемические отзывы, Достоевский в следующих выпусках уточнял ту или иную точку зрения, разъяснял свои выстраданные убеждения и таким образом становился едва ли не самым заметным участником идейной жизни России второй половины 70-х годов XIX века.

Однако в конце 1877 года Достоевский был вынужден приостановить печатание «Дневника писателя», чтобы целиком посвятить себя работе над романом «Братья Карамазовы». Намередаясь возобновить публицистическую деятельность с начала 1881 года, Достоевский тем не менее уже в 1880 году издал один выпуск со своей знаменитой пушкинской речью. Она была произнесена по случаю торжественного открытия памятника Пушкину в Москве. Произведения Пушкина были для автора «Братьев Карамазовых» предметом постоянных творческих раздумий. В героях этих произведений Достоевский видел не просто персонажей определенного исторического времени, а «колоссальные лица», воплотившие основные коллизии русской действительности XIX века. Особую заслугу поэта Достоевский находил и в том, что Пушкин сумел увидеть «смирненную красоту» русского человека, понять всю ценность народных идеалов и святынь. Достоевский обнаруживает в творчестве Пушкина проявление «всемирной отзывчивости», залог возможного единения интеллигенции и народа, России и Европы, всего человечества.

Огромнейший успех речи на пушкинских торжествах и возникшая вокруг нее полемика свидетельствовали о все более возрастающей и духовно обеспеченной популярности Достоевского, убеждали его в насущной необходимости продолжать, как и задумывалось, издание любимого детища. Но удалось подготовить лишь январский выпуск «Дневника». Уже умирающий писатель все еще волновался за его судьбу и вносил последние поправки в

корректурные листы. Анна Григорьевна Достоевская вспоминала: «Среди дня стал беспокоиться насчет «Дневника»... пришел метранпаж из типографии Суворина и принес последнюю сводку. Оказалось лишних семь строк, которые надо было выбросить, чтобы весь материал уместился на двух печатных листах. Федор Михайлович затревожился, но я предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, на что муж согласился. Хотя я задержала метранпажа на полчаса, но после двух поправок, прочтенных мною Федору Михайловичу, дело уладилось. Узнав чрез метранпажа, что номер был послан в гранках Н. С. Абазе (цензору. — *Б. Т.*) и им пропущен, Федор Михайлович значительно успокоился».

Читая «Дневник писателя» сегодня, не перестаешь удивляться, может быть, самому главному в нем — что и через сто лет многие авторские выводы не только жгуче актуальны, но и жизненно необходимы при совестливой, глубокой и по-настоящему реалистической проверке нравственного содержания тех или иных задач и соответствия выбираемых для их осуществления средств. И вряд ли стоит сомневаться, что они еще долго останутся актуальными, хотя действительность сильно меняется и неузнаваемо изменится в будущем.

Думается, тайна неумирающего значения необычной и непривычной для нас публицистики заключается не столько в ее точности и остроте, сколько в мудром проникновении в самую сердцевину рассматриваемых проблем, а также в единстве, которое обнаруживается в предельно разнообразном содержании. Поэтому, очерчивая тематический круг публицистики Достоевского с ее болью и тревогой, чрезвычайно важно выделить в ней руководящие идеи, раскрывающие внутреннюю логику порою невидимой связи несходных фактов, событий, явлений, обнажающие общие корни тех или иных «больных» вопросов жизни и подсказывающие пути их решения.

Публицистика Достоевского дает редкий и выразительный, но, к сожалению, недостаточно усвоенный урок

многостороннего и предугадывающего понимания современной ему действительности. Пожалуй, более чем кто-либо из русских писателей он пристально всматривался в эту действительность, когда в пореформенной России совместились «жизнь разлагающаяся» и «жизнь вновь складывающаяся», когда «все вверх дном на тысячу лет». В одной из статей Достоевский так характеризовал создавшееся положение: «Прежний мир, прежний порядок — очень худой, но все же порядок — отошел безвозвратно. И странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество — не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось...»

Новые условия оказались благоприятными для развития буржуазного индивидуалистического сознания, вытеснявшего традиционные духовно-нравственные ценности и способствовавшего разрастанию самозабвенного практицизма деловых людей с их полусознанным внутренним девизом «после меня хоть потоп»: «...материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу...»

При столь своеобразном понимании разумности, свободы и высшей цели естественно распадается семья, учащаются самоубийства, процветает пьянство. «...Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают... Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?»

Среди признаков неустойчивого переходного времени Достоевский с горечью наблюдал и отчужденность высших слоев общества и интеллигенции от народа, шаткость вековых убеждений и прекраснодушный гуманизм, идейный крах «старых» и теоретическую узость «новых» людей. Даже в нарождающейся архитектуре с ее огромными и высокими, но обезличенными и обездушенными

зданиями обнаруживается «какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберщине настоящей минуты».

Достоевского чрезвычайно озадачивало, что в эпоху «безалаберщины» и «великих обособлений» возникает «куча вопросов, страшная масса все новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных». Однако сложность «теперешнего момента» усугублялась в его представлении тем, что «каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет это все crescendo. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые решения задач хуже хаоса». Хуже потому, что не вылечивают социальные болезни, а лишь загоняют их вглубь. Не лучше и прямолинейные решения, страдающие воинствующей односторонностью. Как среди «старичков» и консерваторов, так среди «молодых» и либералов, замечает писатель, «народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, — и все прямо и прямо, все в прямой линии и в одну точку».

Будучи принципиальным противником скороспелых и прямолинейных решений, Достоевский тщательно изучал текущие явления в эту «самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа» в свете великих идей, мировых вопросов, всего исторического опыта, запечатлевшего основные свойства человеческой природы. Характеризуя собственную публицистическую методологию, он говорил о необходимости давать «отчет о событии: не столько как о новости, сколько о том, что из него (события) останется нам более постоянного, более связанного с общей, с цельной идеей». По его мнению, нельзя «уединять случай» и лишать его «права быть рассмотренным в связи с общим целым». В любой социально значимой деятельности «надо кореннее браться за дело», то есть исследовать генеалогию происходящего в сокровенных глубинах человеческой души. Проницательный ум писателя и был направлен в корни природы человека, скрыто питающие плоды его истории, в нервные узлы, а не периферийные окончания общественных про-

цессов, жизненных зависимостей, интимно-личностных отношений. Это сущностное зрение, в высшей степени свойственное не только его художественным, но и публицистическим произведениям, позволяло лучше понимать, что можно ждать от человека, на что надеяться и чего опасаться в нем.

Достоевский отчетливо видел, как в процессе многовекового движения истории изменялся внешний облик человечества благодаря улучшению материальных условий его существования, что было обусловлено взаимосвязью интеллектуальных свершений и успехов в производстве, науке и технике. Однако в духовно-психологическом ядре человека оставались неискоренимыми властолюбие, зависть, тщеславие и другие эгоистические начала, вносящие дисгармонию в любые социальные отношения.

Достоевский страстно мечтал о такой целостности, когда люди, преодолев корыстолюбивые слабости своей природы, могли бы искренне и простодушно обняться. «Выше этой мысли *обняться* ничего нет», — отмечено им в записных книжках. Без этой высшей цели автор «Дневника писателя» считал человеческое существование недостойным и бессмысленным, но вместе с тем он прекрасно сознавал неимоверные препятствия на пути к ней: «Я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного лучше. Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное».

Стать немного лучше — оказывается такой задачей, которая по идеальности и сложности неизмеримо превышает трудности покорения природы и ее приспособления для увеличения материального комфорта. Более того, выдвигание на первый план физического благополучия — что, по убеждению прямолинейно мыслящих теоретиков, должно создать основания для возвышения и облагораживания жизни — является, по мнению Достоевского, одной из капитальнейших причин многочисленных «недоумений» современной цивилизации и неоднозначно отражается на духовном состоянии человека. Предвидя грядущие гигантские результаты науки в деле преобразования природы, «приручения» вещей, Достоевский спра-

шивал в «Дневнике писателя»: «Что бы тогда случилось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека... — словом, ешь, пей и наслаждайся. «Вот, — закричали бы все филантропы, — теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уже более материальных лишений, нет более заедающей «среды», бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более непрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займутся высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!..

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы». Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что *счастье не в счастье, а лишь в его достижениях*».

Эти мысли заставляют вспомнить многочисленные выступления последнего времени в периодике по вопросам вещизма и потребительства, дискуссии о подлинном и мнимом жизненном успехе и т. п. Рассуждение Достоевского более чем столетней давности по своей сути и

глубине намного опережает размышления некоторых авторов подобных выступлений и участников подобных дискуссий. В этих размышлениях решение встающих проблем сводится иной раз к ускоренному и более справедливому, если так можно выразиться, насыщению материальных потребностей людей, в чем видится порою весьма расплывчатый и никак не определяемый критерий улучшения человеческих отношений.

По многоходовой же логике Достоевского, осыпанность счастьем и зарытость в материальных благах не только не освобождают сознание человека от повседневных забот для духовного совершенствования, не только не делают его прекрасным и праведным, но, напротив, гасят в нем высшую жизнь и устремленность ко всеобщим явлениям, превращают лик человеческий в «скотский образ раба».

Достоевский считал, что полное и скорое утоление потребностей понижает духовную высоту человека, незаметно приковывает его еще сильнее к узкой сфере самоценного умножения чисто внешних форм жизни, обостряющих многосторонность насладительных ощущений и связанных с ними «бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок». Все это, в свою очередь, способствует в виде обратного эффекта развитию «имущественной похоти», нескончаемому наращиванию самих сугубо материальных потребностей, беспрестанно насыщаемых обновляемыми вещами, что делает человека пленником собственных ощущений. По мнению писателя, люди, находясь в плену такого цикла, невольно соглашаются жить как животные, то есть чтобы «есть, пить, спать, устраивать гнезда и выводить детей. О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будет привлекать человека на земле...».

В представлении Достоевского подобные «идеалы» далеко не безобидны для нравственного состояния личности и направления исторического развития, поскольку укрепляют в человеке «ожирелый эгоизм», делают его неспособным к жертвенной любви, потворствуют формированию разъединяющего людей гедонистического жизне-

понимания. И тогда «чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие родит жестокость и трусость... Жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: «Всякий за себя и для себя»... все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие».

Глубокое понимание подобных нетривиальных причинно-следственных связей и непрямой законности общественного развития позволяло Достоевскому еще в зародыше раскрывать нравственную половинчатость различных новоиспеченных идеалов, а точнее идолов, не искореняющих, а лишь иначе направляющих и тем усложняющих извечные пороки людей, приспособляющихся к ним. Таких идолов или «невыясненных идеалов» в системе его размышлений можно назвать еще «несвятыми святынями». «Я ищущу святынь, — писал он, — я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее, не то стоит ли им поклоняться?»

Под несвятыми святынями в процитированных строках имеется в виду не всегда совпадающая с подлинной формальной справедливостью «юной школы изворотливости ума и засушения сердца» — так называл писатель судебную практику в буржуазно-демократических правовых отношениях, достоинством которых, как он полагал, необходимо отдавать должное, но нельзя их абсолютизировать. Правовой строй в его представлении направлен лишь на регулирование благопристойности внешних отношений между людьми, а не на внутреннее содержание, скрывающееся за этими отношениями. «Хитрый закон требует, чтобы соблюдена была при этом надлежащая уч-

тивность». «Учтив буду, а хлеба не дам», — раскрывал Достоевский идолопоклонничество перед юридическим формализмом, в благопристойной оболочке которого склонность личности к дурным поступкам делается незаметнее, тоньше, изощреннее, что еще более укореняет изначальное слабости человеческой натуры.

В записной книжке писателя есть такие слова: «Дуэль — приняв букву, мы расширили склонность к дурным поступкам». То есть имеется в виду, что внешне благородный кодекс не врачует, а распяляет самолюбие людей и доводит их разделение до убийства. Таких красивых «букв», превращающихся при бездумной фетишизации в «мундирные» идеи, Достоевский находил вокруг себя предостаточно — например, фальшивые лозунги свободы, равенства и братства, ведущие на деле к торжеству посредственности и денежного мешка. Чутье на такие перевертыши, когда за речами о правде скрывается ложь, за претензией на истину и здравый смысл — мошенничество, за стремлением к подвигу — злодейство и т. п., у него было необыкновенное. И он постоянно снимал позолоту с благородных по видимости формулировок, обнажал в них не всегда осознаваемые глубинные мотивы, не входящие в поле зрения «мудрецов чугунных идей» и «исступленной прямолинейности».

Поэтому важное значение в публицистике Достоевского имеет критическое рассмотрение внедряемых в социальное сознание репутаций различного рода деятелей, своеобразии которых заключается не в высоком духовно-нравственном состоянии их души, а в привилегированном социальном положении, в достижениях ума и таланта. Перед условными лучшими людьми, как он их называл, преклоняются как бы по принуждению, в силу их социально-кастового авторитета, который меняет свои формы при перестройке конкретно-исторических обстоятельств. Писатель и наблюдал как раз одну из подобных смен, когда от прежних условных людей «как бы удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их официальность» (княжеская, боярская, дворянская) и их место занимали профессиональные политики, деятели

науки, денежные дельцы... С беспокойством отмечал он, что никогда в России не считали новую условность — «золотой мешок» — за высшее на земле, что «никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время», когда поклонение деньгам и стяжание захватывают все сферы жизни и когда под эгидой этой новой условности наибольший авторитет приобретают промышленники, торговцы, юристы и т. п. «лучшие люди». Достоевский считал, что развратительнее подобного поклонения не может быть ничего, и с опасением обнаруживал везде его развращающее воздействие: «В последнее время начало становиться *жутко* за народ: кого он считает за своих лучших людей... Адвокат, банкир, интеллигенция».

К «лучшим людям», по его наблюдению, все чаще стали относить деятелей науки, искусства и просвещения: «Решили наконец, что этот новый и «лучший» человек есть просто человек просвещенный, «человек» науки и *без прежних предрассудков*». Но мнение это трудно принять по очень простому соображению: «человек образованный не всегда человек честный», а «наука еще не гарантирует в человеке доблести».

Противоречие между образованностью и нравственностью Достоевский относил к числу важнейших в новое время и постоянно отмечал его. «Или вы думаете, — обращался он к тем, кто видел в повышении образования панацею от всех бед, — что знания, «научки», школьные сведеньица (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков?» По его убеждению, своеобразие научной деятельности, требующей, казалось бы, самоотвержения и великодушия, обнаруживает тем не менее «низменность нравственного запроса, нравственного чувства», что не способствует духовному просветлению и душевному оздоровлению человека. Отсюда и естественное появление высокообразованных и прехитрых монстров с многосложной жадной интриги и власти, а также таких, на-

пример, вопросов: «Но многие ли из ученых устоят перед язвой мира? Ложная честь, самолюбие, сластолюбие захватят и их. Справьтесь, например, с такою страстью, как зависть: она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему участвовать во всеобщей пышности, в блеске... Напротив, захочется славы, вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом, а пуще всего утилитаризм, потому что захочется и богатства. В искусстве то же самое: такая же погоня за эффектом, за какою-нибудь утонченностью. Простые, ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнее; понадобится искусственность страстей».

В эпоху всевозможных смешений и сложных сочетаний, коварных идолов и раздвоенности поведения Достоевский придавал особое значение духовной трезвости, нелегкому умению отделять зерна от плевел, способности распознавать еще в истоках порочные движения «натуры», нередко глубоко спрятанные под покровом самых благопристойных форм неосознанного эгоистического лицемерия, престижных видов деятельности или даже человеколюбивых идей. «Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!»

По наблюдению Достоевского, наступили такие времена, когда со всей остротой и серьезностью встают проблемы честной неправды или искренней лжи, то есть бессознательной подмены подлинных ценностей мнимыми, безотчетно укороченного, непродуманного до конца отношения к разным вопросам жизни. В результате люди теряют способность замечать, «что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накапливающейся ложью!». Так, наивное приятие условными лучшими людьми своей

условности за нечто безусловное, самоотождествление с играемой в обществе ролью придает их поведению невольный оттенок обманывающего актерства. В их душе создается своеобразный «внутренний театр», поддерживающий естественность внешнего рисунка исполняемой роли и маскирующий пороки, что существенно усиливает взаимное непонимание представителей разных сословий и групп общества. Отрицательное значение игры в благородство, когда блестящая наружность поведения светских людей, правительственных чиновников, литераторов, артистов сочетается с «недоделанностью» их души, а над сердцем и умом висит «стальной замочек хорошего тона», писатель видел в том, что она вместо действительной «красоты людей» создает фальшивую «красоту правил», которая не только маскирует пороки, но и незаметно помрачает простоту души и «съедает» ее подлинные достоинства. Ведь по какому-то особому закону «буква и форма правил» незаметно скрадывают «искренность содержания», что мешает самосовершенствованию человека, укрепляет его «недоделанность».

Даже в таланте писатель находил часто неизбежную возможность излишней «отзывчивости» и «игривости», что опять-таки невольно усыпляет совесть, уклоняет от истины, удаляет от человеколюбия. Например, увлечение красным словом или высоким слогом постепенно мельчит ум и огрубляет душу у иного великодушного литератора или юриста. Вместо сердца у такого деятеля начинает биться «кусочек чего-то казенного, и вот он, раз навсегда, забирает напрокат, на все грядущие экстренные случаи, запасик условных фраз, словечек, чувствиц, мыслей, жестов и воззрений, все, разумеется, по последней либеральной моде, и затем надолго, на всю жизнь, погружается в спокойствие и блаженство».

Неразличение правды, основанное на искренней лжи, Достоевский обнаруживал и в необузданном оптимизме современных прогрессистов, возлагавших надежду при движении к всечеловеческому братству на успехи культуры и цивилизации. Однако при непредвзятом взгляде оказывается, что в результате цивилизации люди приоб-

рели «коротенькие идейки и парикмахерское развитие... циничность мысли вследствие ее короткости, ничтожных, мелочных форм», окультурились лишь в новых предрассудках, новых привычках и новом платье.

К тому же набравшая силу буржуазная цивилизация порождала процессы, не побуждавшие к глубокой духовной культуре, которая преобразила бы весь строй душевного мира человека и эгоистических стимулов его поведения. «Война бывает каждые 25 лет. Не останавливают ее ни развитие, ни ничего... Так что прогресс и гуманность одно, а какие-то законы — другое».

Согласно этим неявным законам, прогресс и «гуманность», не имеющие достаточного духовного основания и ясного нравственного содержания, грозят обернуться и оборачиваются регрессом и варварством. Например, внешнее достижение благородной цели равенства людей не облагораживает их внутренне. Ведь «что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть...». И никакие договоры не способны предотвратить войны, если сохраняется подобное состояние человеческих душ, видимое или невидимое соперничество которых порождает все новые материальные интересы и соответственно требует увеличения разнообразия всевозможных захватов. В результате мирное время промышленных и иных бескровных революций, если оно не способствует преобразению эгоцентрических начал человеческой деятельности, а, напротив, создает для них питательную среду, само вызывает потребность войны, «выносит ее из себя как жалкое следствие». Поэтому, считал Достоевский, необходимо трезво и, так сказать, заранее оценивать те или иные перспективы «хода дела», постоянно спрашивать себя: «В чем хорошее и что лучшее... В наше время вопросы: хорошо ли хорошее?»

Подобные вопросы вставали перед ним и тогда, когда он анализировал радикальные теории утопического социализма, основанные на утилитарных и рационалистических началах. Писатель считал, что вульгарно-социологические проекты «разумного» общественного устройст-

ва, основанные на равновеликой экономической пользе, не учитывают противоречивой глубины человеческой свободы, несовершенные движения которой изначально устремлены к расширению и возвышению своих прав, собственности, своеволия. По его мнению, всякое «научное» решение социальных вопросов без корректив на неоднозначную волевою глубину с ее тайными страстями грозит трагическими срывами.

Стремление достичь общечеловеческой гармонии «извне», с помощью ограниченных и не до конца продуманных теорий при отсутствии внимания к изначальному внутреннему несовершенству человека приводит к практическому банкротству этих теорий, с чем, предупреждал Достоевский, придется столкнуться будущим поколениям. Такая возможность казалась ему неизбежной еще и потому, что из поля зрения искателей справедливого общественного устройства ускользал и целый ряд других сверхрассудочных особенностей человеческого бытия, не поддающихся строгому логическому вычислению. Внимание писателя к подобным особенностям позволяло ему определить одно важное явление, которое он в зависимости от контекста и степени снижения нравственного содержания называл «лакейством мысли» или «волочением идеи по улице». Благородство и чистота помыслов всех тех, кто взыскует равенства и братства, могут, по его наблюдению, исказиться уже одной только торопливостью в выводах и обобщениях, принятием гипотез за несокрушимые аксиомы, бездумным, не позволяющим себе никакого анализа, воплощением гуманных идей, сопровождающимся огульным отрицанием тысячелетних традиций, исторических ценностей и народных идеалов. Когда же эти идеи «падают на улицу», то к ним примазываются «плуты, торгующие либерализмом», или интриганы, намеревающиеся грабить, но придающие своим намерениям «вид высшей справедливости». И в конце концов «смерды направления» доходят до убеждения, что «денежки лучше великодушия» и что «если нет ничего святого, то можно делать всякую пакость».

Закон искажения великодушных идей Достоевский

рассматривал с законом их таинственного отражения, то есть безотчетного столкновения в самой глубине души человека ощущения их смысловой неполноты и чувства их реальной неосуществимости для каждой конкретной личности с требованиями абсолютной разумности. Роль унавоживающего материала для будущей гармонии невольно заставляет человека задумываться (с разной степенью отчетливости и осознанности) над тем, что «жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что назавтра же по достижении «гармонии» (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же *нуль*, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, — эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за все человечество и — по закону отражения идей — убивает в нем даже самую любовь к человечеству».

Многосторонний анализ подобных законов показывал Достоевскому, что ни утопические теории, ни цивилизация, ни демократия, ни равновеликая для всех возможность «есть, пить и наслаждаться» не увеличивают область добра в душе человека и не подвигают его к братолюбию. Напротив, зло и эгоизм как бы переодеваются в процессе истории, приспосабливаются к новым условиям, становятся замаскированное, изощренное, следовательно, устойчивее, потенциально опаснее и страшнее.

Размышляя над этими вопросами, он отмечал в «Дневнике писателя»: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что в никаком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят от нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет еще ни лекарей, ни даже *судей окончательных...*»

Раскрывая сложный духовный мир человека, многочисленные движения его свободной воли, Достоевский

обнаруживал, что все они, несмотря на неодинаковое содержание и разные сферы действия, направлены обычно к самосохранению, господству и наслаждению. И в бытовых, служебных, любовных взаимоотношениях людей, и во всеохватных принципах и идеях по видимости не похожих друг на друга «учредителей и законодателей человечества» естественные гордо-эгоистические и агрессивно-гедонистические свойства человеческой природы, если их «натуральность» не пресечена и не подчинена действительно укорененному в бытии высочайшему идеалу, ведут потенциально и реально к самопревозношению разнородных личностей, к их разъединенности и вражде.

Писатель внимательно изучал самые разные, казалось бы, мелочи (а на самом деле не мелочи!) окружавшей его жизни, часто находя в них, к своему сожалению, отражения вездесущих эгоистических стремлений к принижающему других господству. Грубость, раздражение, «мелочное юпитерство», вызванное затаенным желанием отомстить кому-то за свое ничтожество пренебрежением и невнимательностью, особенно заметны «в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч.». Похожую картину можно наблюдать и на железных дорогах, где даже самый последний чиновник «смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу».

На таком небольшом примере писатель наглядно показывает, как разлагаются человеческие отношения и переворачивается всякий порядок, когда вольно или невольно выпячивается «Я» со своей жадой хоть крошечной, да власти. Он хорошо видел, что в эпоху «шатких семейств» и «скептических отцов», равнодушных к высшим ценностям, эта жажда особенно обостряется и рождает время «хотя великих реформ и событий, это бесспорно, но вместе с тем и усиленных анонимных писем ругательного характера». И многие, хотя не пишут таких писем, являются в душе анонимными ругателями. Онтологическая и нравственная необеспеченность социаль-

ных целей при ослаблении основополагающих идеалов создает, считал Достоевский, благоприятные условия, препятствующие самоуважению человека в собственном его положении и развивающие завистливую «роковую заботу» отыскивать везде и всегда как можно больше людей хуже себя. Отсюда повсеместная гонка и непрерывное соревнование неутоленных честолюбий и обойденных самолюбий, а также наивное внутреннее недоумение: «Зачем, дескать, везде *они*, а не я, зачем не обращают и на меня внимания». Подобные стремления и чувства нередко могут не осознаваться, доставлять большие мучения, даже иной раз выливаться в крайние жестокости и немотивированные преступления, ну а чаще всего — превращаться в желание «просто напакостить, ну там наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное ругательное письмо пустить».

Достоевский подчеркивает, что тщеславие и зависть, питающие затаенную наглость и ждущую своего часа несправедливость, разъедают личность и вносят разлад в самые обычные бытовые отношения. Но то же самое происходит, как явствует из его размышлений, и на уровне личности той или иной нации, в масштабе межгосударственных отношений. И торжество эгоистических интересов здесь, затирающих нравственные начала, также не может продолжаться безнаказанно: «...позорное и порочное несет само в себе смерть и, рано ли, поздно ли, само собою казнит себя. Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи, хотя в основе своей выходит из того же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, который в этом развитии переходить нельзя и за которым всякое приобретение, всякое развитие значит уже излишек, несет в себе болезнь, а за ней и смерть».

Достоевский утверждал, что свобода как величайшая ценность человека есть и самый крупный камень преткновения, если она понимается как «разнузданность желаний», приводящих к рабской зависимости от похоти, денег и ложных авторитетов, а в конечном итоге — к самоуничтожению. Подлинная же свобода заключается в в

одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином». Поэтому для достойной жизни как отдельных личностей, так и целых народов необходимо, по мнению писателя, умение справиться с собственной свободой, переплавить жизнеотрицающую силу мнимой свободы в жизнеутверждающую силу свободы действительной, направить ее центростремительно, альтруистически, к объединению с целым.

Такое перерождение от рабства к свободе, от своекорыстного к добролюбящему расположению души осуществимо лишь при глубоком переживании или ясном осознании возможностей и парадоксов природы человека и его истории. Оздоровление корней желаний происходит, по убеждению писателя, только тогда, когда человеческая душа полностью захвачена противоположным эгоистической натуре абсолютным идеалом, стирающим в ней все остальные «идеалы» и идола.

Абсолютным и прекрасным идеалом, создающим непосредственное ощущение непобедимой красоты и отклоняющим натуру от эгоистического своеволия, была для Достоевского, как известно, личность Христа, в которой, по его убеждению, воплотились свойства высшего и полного развития человека. В логике Достоевского безраздельная и беззаветная любовь Христа к людям, являющаяся главной силой идеала и как бы венчающим синонимом высшего и полного развития личности, предельного выражения ее свободы, есть одновременно и величайшее самостеснение, жертва, победа над «адамовой» натурой. Писатель постоянно подчеркивал, что основное свойство подлинной, духовной, любви заключается в ее бескорыстной жертвенности, полной самоотдаче ради предмета любви. В противном случае возникают ее суррогаты, выступающие в замаскированных формах чувственного эгоизма.

В эпоху Достоевского возникало много толкований духовности, много разных «нравственностей», которые скрыто или явно, осознанно или неосознанно, приспособ-

сабливались к порочным началам человеческой природы, а не искореняли их. Настоящая нравственность, по мнению писателя, противоположна множественности понятий и вытекает из «признания высшей красоты, служащей идеалом для всех». Только высшее, самое высшее, не уставал повторять он в своих статьях, — высшее сознание, высшее развитие, высшие цели жизни, вытекающие из «вековечного идеала», — отрывает человека от самолюбивых склонностей его натуры и ведет «по дороге жизни» к действительному братолюбию. И не образованием, не внешней культурностью и светским лоском, не научными и техническими достижениями, а лишь «возбуждением высших интересов» можно перестроить глубинную структуру эгоистического мышления. «Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их будущее к целям вековечным, к радости абсолютной».

Без «великой нравственной мысли», считал Достоевский, невозможно нормальное развитие, гармоничный ум и жизнеспособность личности, государства, всего человечества, поскольку только в ней человек постигает «всю разумную цель свою на земле» и осознает в себе «лик человеческий». Без обретения же смысловой полноты и высоты бытие человека оказывается неестественным и нелепым, связи его с различными проявлениями жизни становятся тоньше, а сама жизнь выливается в перекосы и катастрофы. Потому-то так тревожило писателя его время, когда с прогрессирующей быстротой стало повсеместно распространяться безразличное и даже нигилистическое отношение к высшим идеям человеческого существования как к «вздору» и «стишкам».

Но именно в потере вековых идеалов, высшего смысла, высшей цели жизни, в исчезновении «высших типов» вокруг Достоевский находил первопричину подспудного разлития нигилистической атмосферы, когда «что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются

хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование».

«Почему же мы дрянь?» — спрашивал Достоевский, вникая в эти неосознанные учения и безотчетные верования, и отвечал: «Великого нет ничего». В отсутствии представлений о величии и неслучайности человеческой жизни на земле он обнаруживал корни взаимообусловленных духовных болезней своего века.

Молодежь, считал он, не может остановиться на еде, чинах, поклонении подчиненных, везде и всегда она жаждала и искала положительных идеалов — во что верить, что уважать, к чему стремиться. Однако в семье, школе и у своих идейных руководителей она усваивает лишь скептический взгляд на высшие цели жизни, заменяемые более практическими интересами и современными задачами, которые имеют скудное нравственное содержание. Провозглашаемые при этом абстрактные призывы к справедливости и братству, поначалу увлекая юных людей, тем сильнее разочаровывают их впоследствии, когда оказывается на поверку ошибочным полагать, будто «добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений». Это разочарование приводит к ослаблению у молодого поколения чувства долга и обязанности по отношению к отцам и матерям, к принципам и убеждениям, в конце концов к тем же самым практическим интересам и современным задачам. У юношей и девушек теряется подлинная свобода, то есть становится все «меньше удержу и внешнего и внутреннего, в себе самом заключающегося», и страдания от бессознательной тоски из-за бесцельной жизни приводят наиболее ранимых среди них к самоубийству.

Достоевскому казались легкомысленными и бесчестными те выступления журналистов, которые вместо указания на эти цели бездумно захваливали молодежь и заигрывали с ней для повышения собственной популярно-

сти, угождая ее сиюминутным требованиям. В результате «многие из молодежи... действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу...». А это создает им дополнительные психологические препятствия для понимания «лжи и неправды почти всего, что считают светом и истиной», для осознания глубинных оснований их духовного неблагополучия.

В пренебрежении к высшим преемственным и объединяющим идеям определял Достоевский и главную причину разлада во взаимоотношениях отцов и детей. У отцов Достоевский не находил ни одной действительно великой, глубокой и сильной идеи, в которую они бы по-настоящему верили. «Рутина наша, и богатая и бедная, любит ни об чем не думать и просто, не задумываясь, развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди лучше рутины «обособляются» в кучки и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно и сами себя тешат». Однако кружковая, искусственная и иллюзорная вера способствует образованию «случайных семейств», воспитание в которых не имеет достаточных духовно-нравственных опор.

Писатель подмечает, например, важную отрицательную особенность современной педагогики, озабоченной желанием обезопасить ребенка с самого рождения от любых затруднений и лишений, стремящейся облегчить ему всякое приобретение знаний и даже детские игры. Но ведь порою «облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то, ни се, ни доброе, ни злое...»

В теплохладном равнодушии облегченной школы и вырастает незаметно поклонение «вечному и глупому идеалу середины, вседовольному самомнению и пошлomu благоразумию», влияние которого может предупредить лишь воспитание, зароняющее в сердце «великие вопро-

сы». По убеждению Достоевского, «без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь». Однако в действительности все происходит наоборот именно потому, что «общего нет ничего у современных отцов... связующего их самих нет ничего. Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить прекрасное в воспоминаниях детей».

Обретение же «великой веры» зависит от преодоления разрыва между поколениями и соединения, как подчеркивал Достоевский, с лучшими историческими традициями и подлинными святынями народа, которые осмеивались и презрительно отбрасывались «ходом дела» в буржуазном обществе. «В народные идеалы не верят многие, — отмечал он, — и не знают их, даже говорят, что лучше совсем без идеалов». Ампутация исторической народной памяти, обладающей, подобно совести и любви, «удлиняющими», восстанавливающими и связующими свойствами, и породила в ряду других причин «коротенькие идейки» и большие трагедии.

Воспроизводя логику деятелей полуобразования и полупросвещения, создававших из положительного знания новую разъединяющую силу и крепостную зависимость от «высокомерного просвещения», Достоевский писал: «Образование же его (народа. — *Б. Т.*) мы оснуем и начнем с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же начнем обольщать его... утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, — словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль... Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, — вот наша формула! Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то — «устранить народ».

Обращаясь к инициаторам «парикмахерского развития», которые пытались учить народ поклоняться новым идолам и «новым предрассудкам», чреватым и новыми драматическими переворотами и разломами, Достоевский одновременно как бы обращался и к самому себе, ко всей интеллигенции: «нравственное-то, высшее-то что передадим народу», чем мы «нравственно, существенно» выше его? Цивилизация, повторял он, не может создать и укрепить братского общества. Оно «созидается нравственными началами, а в нравственных началах выше народ». Народная жизнь, по его представлению, полна сердцевины, силы, непосредственности и мысли, «а вот ее-то вы, стремясь в нее с вашей глупенькою культурою, и хотите уничтожить».

Достоевский не идеализировал народ, хорошо видел его недостатки, никогда не скрывал их, а, напротив, стремился выявлять для лучшего осознания и напоминания о их возможных последствиях. Например, его всегда настораживала чрезмерная широта русского характера, способность уживаться со многими уродливыми явлениями и раздвигать совесть «до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?». А ожидать можно, отвечал писатель, сплошного отрицания, вплоть до отречения от «самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего». В этом забвении всякой мерки во всем не только «русский Мефистофель», но и «иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в самые роковые минуты его жизни».

Вместе с тем писатель призывал судить о нравственной силе русского народа по той высоте духа, на которую он способен подняться. Несмотря на тяжелые исторические испытания, в самом зерне народной жизни сохраняются идеалы высшей красоты и правдивости, которые «и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью,

искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение диявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет».

Именно в народной вере в вечный свет Достоевский находил основу для настоящего просвещения, без которого неосуществимо «великое дело любви». Смысл подлинного просвещения выражен, по его мнению, в самом корне этого понятия, есть «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум, подсказывающий ему дорогу жизни». Такое просвещение и отличает, по его мнению, условных лучших людей от безусловных, которые познаются не социально-кастовой принадлежностью, не умом, образованностью, богатством и т. п., а наличием духовного света в своей душе, благоустроенностью сердца, высшим нравственным развитием и влиянием. К таким людям он относил испокон веков распространенных на Руси праведников, в которых ярко выражена «потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины». Народные святыни, а не науки и привилегии, отмечал писатель, указывают лучших людей. «Лучший человек по представлению народному — это тот, который не преклонился перед материальным соблазном... любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью».

При общем взгляде на публицистику писателя прослеживается взаимосвязь тех свойств, которые составляют «благородный материал», входят в «эстетику души» безусловных лучших людей, получивших истинное просвещение и способных стать братьями другим. Праведность, правдолюбие, глубокий ум, возвышенность, благородство, справедливость, честность, подлинное собственное достоинство, самоотверженность, чувство долга и ответственности, доверчивость, открытость, искренность, простодушие, скромность, умение прощать, органичность и целостность мировосприятия, внутреннее благообразие и

целомудрие — эти духовно-душевные черты, свидетельствующие о внутренней победе над эгоцентрическими началами неправедного строя жизни, определяют личности, перед которыми «добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть», перед которыми преклоняются «сердечно и несомненно».

Достоевский подчеркивал в этой взаимосвязи особую роль незаметно-«детских» и миролюбиво-«женских» качеств (от доверчивости до умения прощать), поскольку они с их чрезвычайно значащей незаметностью как бы предопределяют возвышающее и уравнивающее действие остальных свойств и полярно противостоят принижаящим и вносящим дисгармонию самолюбивым началам. Соответственно погашенность любых агрессивно-захватнических проявлений составляет твердую сердцевину «плюсовых людей», которая, по убеждению Достоевского, защищает их от воздействия «излишеств и уклонений нашей культуры». Они принципиально сильны именно своей «слабостью», то есть органической расположенностью к добру и мужеством отказа распространять зло в мире в каких бы то ни было формах, даже в форме ложного добра и жизнотворчества. Отсюда и их историческая непроявленность, «тихость». Безусловные лучшие люди, отмечал он, «отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальны, подчас трудно определимы...».

Летопись истории обычно заполнена героями, полководцами, историческими деятелями, иначе говоря, людьми выдающимися, которые, по логике Достоевского, неизбежно втянуты в сферу влияния разрушительной гордости и, следовательно, в разной степени являются носителями зла. Между тем в «рядовых» истории, в ее второстепенных персонажах наиболее определенно и вполне закономерно проявляются в несмешанном виде самые простые, но одновременно и самые глубокие нравственные чувства. И без «тихой истории» праведников, как бы нейтрализующих «шум» и «ярость» бурного общественно-исторического процесса, зло не имело бы никаких преград. В «тихой истории» и в утверждающих ее духовно-волевых качествах содержится предпосылка и принци-

ально иного жизнетворчества, из которого было бы искоренено до сих пор естественно входящее в самые разные его формы самопревозношение, не успокаивающее, а, напротив, постоянно разжигающее зависть и жажду первенства. Поэтому писатель призывал не стыдиться «наивных и простодушных форм, в которых народ «лучшего человека» указывает», понять важное значение «незаметности» и «смирения» в созидании высокой духовной атмосферы общества.

Это значение связано и с излюбленной мыслью Достоевского о виновности отдельной личности перед остальными, виновности не юридической, а онтологической, основанной на признании изначального несовершенства человека и вместе с тем его сопричастности всему происходящему в мире. Каждый виноват в меру отсутствия света в собственной душе и бескорыстной любви к людям. Следствия душевного мрака и эгоцентризма, различные по степени и содержанию, но неискоренимые до конца в любом человеке, по невидимым каналам разливаются вокруг. И малейшие наши злые помыслы, слова и поступки, как считал Достоевский, незримо отпечатываются в душах окружающих, распространяются все дальше и дальше в пространстве и времени, подвигая кого-то к зависти или гордости, к рабству или тиранству. Так накапливается и растет в мире отрицательный духовный потенциал, питающий происходящие в нем злодеяния.

Поэтому мудрое понимание собственной теоретической и практической ограниченности, изменение себя в сторону подлинного совершенствования, то есть увеличения света и бескорыстной любви к людям в своей душе, способствует согласованности целей и средств, препятствует смешению добра и зла, предопределяет движение к мировой гармонии «изнутри». Такой ход мысли дополнительно объясняет известный призыв Достоевского к «гордому человеку» в пушкинской речи смириться и потрудиться на родной ниве. «Победишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободным как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сле-

лаешь... нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, зlobен и горд...»

Достигая высшей свободы для служения великому делу, человек, по мнению писателя, своим личным благолепием существенно изменяет сознание других к лучшему, поскольку людей особенно нравственно ободряет живой пример соответствия слова и дела. И наоборот. «О том, что литературе (в наше время) надо высоко держать знамя чести, — замечал Достоевский в записной тетради. — Представить себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут: «Если уж эти, то... и т. д.». То же и наука». Писатель призывал всех тех, кто взял на себя по роду деятельности ответственность сеять «доброе, разумное, вечное»: «Прежде чем проповедовать людям: «как им быть», — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут... Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага».

Достоевский считал, что не «начало только всему» есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно, поскольку идеал гражданского устройства, складываясь исторически, является исключительно результатом «нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается... было так спокон века и пребудет во веки веков».

Таким образом, подлинное преуспевание общества в самых разных областях неразрывно связано с внутренним нравственным благоустроением его граждан. Говоря, например, о возможном изменении и оздоровлении чиновничьей деятельности, Достоевский подчеркивает: «Оппозиция бюрократии бьет мимо цели. Главного-то шагу и не видят... Сущность в воспитании нравственного чувства». Без учета этой сущности постоянное сокращение штатов приводит тем не менее к тому, что штаты парадоксальным образом как бы увеличиваются. Чиновники же, симулируя никак не определяемую нравственную активность, пытаются ограничиться косметическими пере-

менами, ничего по существу не меняя и рассуждая про себя: «...мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообщитимся, ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее, ну там станем как-нибудь добродетельнее или что...» В результате освобожденный от крепостной зависимости народ не имеет самостоятельности и духовной поддержки, поскольку в земстве, общине, суде присяжных и в других демократических формах общества «тянет к чему-то похожему на начальство». Назначаются ревизии, устраиваются комиссии, выделяющие из себя подкомиссии. Дотошные наблюдатели, замечает писатель, подсчитали, что «у народа теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякий начальство, а тут еще двадцать штук специальных! Свобода-то движения ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно, то есть такая свобода движения».

Отсутствие «главного шагу» ослабляет, по мысли Достоевского, и различные экономические реформы, сияющие сию же минуту, «вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никак до того неожиданным предписанием начальства», улучшить текущую действительность, повысить бюджет государства, погасить долги, преодолеть дефицит. Однако при такой торопливости добиваются только «временной, материальной глади», воспроизводят в слегка подновленном виде лишь существующее. Эти «механически-успокоительные утешения» не приводят к «действительно гражданскому, нравственно-гражданскому» порядку и сохраняют общую атмосферу для тех, кто точит зубы на казну и общественное достояние, кто превращается «в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные и прикрывать себя юридически не станут». Нравственно-гражданский беспорядок при паллиативном экономическом процветании разлагает сознание наблюдающих его и укрепляет социальное нестроение. «Посмотрит иной простак кругом се-

бя и вдруг выведет, что одному-де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делается, так стану-де и я кулаком, — и станет. Другой, помирнее, просто сопьется, не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправия тошно. Что же тут делать? Тут фатум».

Для одоления этого фатума необходимо, утверждал Достоевский, направить внимание «в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности». Нужен «поворот голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор... Принципы наши некоторые надо бы совсем изменить, мух из патоки повыващить и освободить». Следует, считал он, хоть на малую долю забыть о сиюминутных потребностях, сколь ни казались бы они насущными, и сосредоточиться на «оздоровлении корней», другими словами, на создании условий для сохранения народных традиций и идеалов, для развития подлинного просвещения, для формирования безусловных лучших людей. Тогда появится надежда на соборное разрешение разногласий различных слоев общества, «всеобщего демократического настроения и всеобщего согласия всех русских людей, начиная с самого верху». Тогда и текущая действительность с ее безотлагательными задачами, финансовыми и экономическими проблемами может измениться не косметически только, а радикально, поскольку сама подчинится новому принципу и «войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему». Тогда и нравственность выйдет из-под разрушительного управления экономики, которая (а вместе с ней науки, ремесла, техника) под ее воздействием станет более разумной и человечной, поскольку разумными и человечными станут и потребности людей.

По убеждению Достоевского, в числе новых принципов следует твердо усвоить, что нельзя искусственно подгонять историю и устраивать из нее водевиль (порою жестокий и трагический), что всякие, даже здравые, новшества не осуществляются в один миг, а их успех определяется «предварительной культурой», обогащенностью ре-

зультатами духовного труда многих предшествующих поколений.

Надо помнить и не забывать, подчеркивал Достоевский, что истинный плодотворный результат любого дела зависит не от верного денежного расчета и не от деятельности мифического «нового человека», которого никто и нигде не видел и «новая нравственность» которого не поддается разумному уяснению, а от золотого запаса благородного человеческого материала, постоянно создаваемого растущими из древних корней и непрерываемыми духовными традициями. «Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры сам отлично преподавать педагогию, а все-таки педагогом не сделается. Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну, а на века надо время, годков эдак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всею историческою жизнью страны».

Достоевский не сомневался, что нравственные начала являются основой всему, в том числе и благополучию государства, хотя оно на первый взгляд кажется зависимым от выигранных битв или хитроумной политики.

Для достойной и долговечной жизни народам и государствам, полагал писатель, необходимо свято хранить высокие идеалы, ибо «как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начал расшатываться и ослабевать в данной национально-

сти ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться... Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органично связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят! *Сами же по себе* никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нравственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось».

Следовательно, политика чести и великодушия, которая подчиняется «нравственному стремлению» и которую не следует разменивать на торопливые барыши, есть «не только высшая, но, может быть, и самая *выгодная* политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и непрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и *насущной* выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь всегда кончали тем, что всегда торжествовали. А если и не кончали тем, то кончат тем, потому что так того, неизменно и вечно, хотели и хотят люди».

По логике Достоевского, принципы «святости текущей выгоды» и «плевок на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клочок» могут временно давать определенные материальные результаты. Но они же порождают захватнические войны, духовно развращают нации и в конце концов губят их. И наоборот. Вера в вечные (а не условно-выгодные) идеалы придает политике духовный смысл, поддерживает нравственное здоровье и величие нации. В таком случае войны, если они вынужденны, носят исключительно освободительный характер и преследуют лишь «великую и справедливую цель, достойную великой нации».

Именно в контексте нравственно состоятельной политики рассматривал Достоевский в «Дневнике» бескорыстную помощь России борьбе балканских славян против турецкого ига. По мнению писателя, подлинная вы-

года русского государства заключается в том, чтобы всегда поступать честно, идти даже на математически явную невыгоду и жертву, лишь бы не нарушить справедливости.

История показывала Достоевскому, что Россия сильна «идеями, завещанной ей рядом веков», «всечелостью и духовной нераздельностью» народа, способного в годину суровых испытаний проявить величайшую волю ради продвижения великодушия. Дойдя «до последней черты, то есть когда уже идти некуда», русский народ преодолевал роковые раздоры и тяжелые страдания благодаря «единению нашего духа народного», без которого и политика, и наука, и техника, и оружие оказались бы беспомощными. Писатель призывал всемерно сохранять это единение не только в кризисные моменты истории, но и в повседневной жизни и не разминивать «великие мысли» на третьестепенные соображения. Ведь только тогда пробуждается и поддерживается в сердцах людей вера в высокое предназначение России, «вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажда служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций...».

Залоги такой жизни Достоевский находил и в величайших достижениях русской литературы, которая «в лучших представителях своих, и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась пред народной правдой, признала идеалы народные за действительно прекрасные», что и определило ее историческое значение. Это значение проявилось прежде всего, по его мнению, в творчестве Пушкина, отличавшемся наряду с художественным совершенством «всемирной отзывчивостью», подлинным национальным своеобразием и философско-психологической глубиной. Сходным образом он оценивает, например, и роман Льва Толстого «Анна Каренина»: «Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть *впоследствии и своей* науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, — вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же

предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени».

Вообще следует подчеркнуть, что в своих публицистических статьях писатель рассматривает вопросы литературы, как и все другие, в нравственной доминанте, неразрывной связи с социальными и насущными проблемами жизни. Искусство представляет для него своеобразный сгусток человеческой деятельности, не только концентрированно отображающий в себе типичные процессы в обществе, но и освещающий их высоким духовным светом. «Искусство, то есть *истинное* искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет вразрез с грузным и порочным усыплением душ, и, напротив, созданиями своими, всегда в эти периоды, вызывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы».

Казалось бы, при такой постановке вопроса на первый план должна выйти литература «с направлением», обличающая пороки и указующая пути их исправления. Однако, по убеждению Достоевского, художнику не стоит «вытягивать из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению», а необходимо дать возможность излиться и развить естественно просящиеся из души образы. Ведь «всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности, и даже на сюжет посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное»... окажется гораздо полезнее для его же целей... в истинно художественном произведении, хотя бы оно толковало о других мирах, не может не быть истинного направления и верной мысли». Такие отличающиеся естественной правдивостью и столь же непринужденной нравственностью произведения, в которых писатель дает свободу своим чувствам и «своей идее (идеалу)» и тем самым усиливает полноту эстетической реальности, Достоевский называл литературой красоты и противопоставлял

ее литературе дела и литературе сплошного отрицания, скованных своей заданностью и предвзятостью и не имеющих «положительного идеала в подкладке». Литература дела полна неясных и путаных исканий, поскольку «дело еще не разъяснено, лишь мечта». Что же касается сугубо обличительной литературы, то она и вовсе лишена всякого созидательного начала, способна возбуждать к ненависти и мести, «нужна тем, кто не знает, за что держаться, как быть и кому верить... Положительный идеал мешает их (авторов нигилистических произведений. — *Б. Т.*) пороку, а отрицательное ни к чему не обязывает».

Не отражая «прямо» и «направленно» злободневные события и факты действительности, литература красоты тем не менее и создает как раз образы, вбирающие в себя наиболее существенные черты текущей жизни. Татьяна Ларина и Евгений Онегин Пушкина, Пирогов и Хлестаков Гоголя, Потугин Тургенева, Влас Некрасова, Левин Толстого становятся в статьях Достоевского своеобразными символами, помогающими ему пронизательнее анализировать духовное состояние общества и тенденции исторического процесса. Он глубоко ценил такие выразительные типы и сожалел, что мельчающая словесность теряет способность их создавать. «Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего, много совсем проглядела и страшно отстала... Даже и в исторический-то роман, может, потому ударились, что смысл текущего потеряла». Достоевский считал, что необходим талант, равный, по крайней мере, гоголевскому, чтобы выявить и обобщить, например, тип анонимного ругателя с его непомерным самомнением при затаенном самонеуважении или тип бездарного и тщеславного невежды, воображающего себя великим деятелем и непревзойденным гением. «Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить: ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора говорит и, главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он: умный или иной какой? — и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего не разберешь.

Курицу ль впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть, — ничего этого не разберешь, видишь только, что красноречивая курица, вместо яиц, дичь несет. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно зародившийся; художественная литература его еще не затрагивала...»

Художественное обобщение социально-психологических причин появления подобных говорунов, задуривающих сознание больших масс людей и замутняющих ход жизни, тем более важно, что оно одновременно оказывается и одним из путей преодоления их воздействия, уяснения подлинных ценностей. В литературе, как и во всякой другой деятельности, Достоевский стремился выделить главное и значительное для понимания природы человека и творимой им истории. И в своей неповторимой публицистике он также исследует тесную пульсирующую взаимосвязь между законами человеческого духа и законами общественного организма, что позволяло ему предвосхищать объективную, независимую от индивидуального произвола и субъективных представлений различного рода позитивистов, логику развития жизни, предсказывать за многие десятилетия конечные результаты определенных социальных процессов, предупреждать о тупиках грядущей мировой истории. «Ясно, что общество имеет предел своей деятельности, тот забор, о который оно наткнется и остановится. Этот забор — есть нравственное состояние общества, крепко соединенное с социальным устройством его...»

И потому высшим нравственным сознанием, качеством святынь и совестью человека, его способностью искренне побрататься с другими, пожертвовать не только лишним, но и хлебом насущным измерял Достоевский намерения и истинность достижений людей, всякую их деятельность, направленную на преодоление жизненного несовершенства. Но подобное преодоление может быть, по его убеждению, сколь-нибудь успешным лишь тогда, когда все проявления зла, особенно завуалированные одеждами добропорядочности, будут открыто обнажаться

в душе человека, а не откладываясь за слоем благопристойных форм на глубине ее дна.

Лишь выпукло обозначив ростки зла в ядре внутреннего мира, человек может направить свое внимание и силы на их искоренение, предотвратить их органический рост и распространение, нащупать и разрушить мосты между эгоистическими свойствами «натуры» и ложными идеями, предупредить девальвацию таких высоких понятий, как идеал, свобода, братство.

В представлении Достоевского выбор пути всего человечества неотделим от самоопределения отдельной личности. Ведь линия, разделяющая добро и зло, проходит «не за морем где-нибудь», «не в вещах», «не вне тебя», а через все человеческие сердца, через каждое сердце. И публицистика великого русского писателя приглашает читателя заглянуть поглубже в свою душу и непредубежденно посмотреть на свои дела, чтобы определить, куда направлены растрчиваемые нами силы, — идут ли они на «самоукорачивание», превращение человека в «скотский образ раба» или на «самоудлинение», восстановление в человеке «образа человеческого».

Выпалывая сорняки из собственной души, обнаруживая «глубоко запрятанную» мощь любви, которая «есть в каждом из нас», любая личность тем самым способствует победе над «прежним животным» и возвращению «воистину новых людей», вытесняет космическое зло из вселенной, участвует в разрешении будущих судеб человечества. И в этом Достоевский не видел ничего фантастического. Надо только хорошо помнить, подчеркивал он, что «силен может быть один человек», что в его мыслях и поступках «бесчисленное множество скрытых от нас разветвлений» и что «все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается».

БОРИС ТАРАСОВ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ.

1873

ВСТУПЛЕНИЕ

Двадцатого декабря я узнал, что уже все решено и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина». Там все так ясно... Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам

было бы невероятно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, — мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»¹, сам же, напротив, стал отлично писать статьи, — так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и — к удивлению — понятно; да и то если принадлежат известному перу². В «Голосе» они пишутся в восемь, в десять, в двенадцать и даже в тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими — наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»³ — и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседовольное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, — нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же — никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка,

или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что «Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин» должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так:

— Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, — не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение — «С того берега».

Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье⁴ о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится, — заметил я между прочим, — что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

— Да ведь в том-то и вся штука, — засмеялся Герцен. — Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.». (Вошла в собрание его сочинений.) В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоче. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь что есть мочи:

— Зарезал! Зарезал!

СТАРЫЕ ЛЮДИ

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde** прежде всего,

* Русский дворянин и гражданин мира (*франц.*).

тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора-два десятилетия предшествующей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделяясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, — каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был чело-

век необыкновенный; но чем бы он ни был — писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим возванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли несслышанную признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, — всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, — Белинский был вовсе не *gentilhomme*, — о нет. (Он бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем.)

Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка⁵ в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм

могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмазновых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «*Vie de Jésus*»*, что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обра-

* «Жизнь Иисуса» (франц.).

щаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского⁶, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе⁷.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-ет! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда всё французы: прежде всех Жорж Занд⁸, теперь совершенно забытый Кабет⁹, Пьер Леру¹⁰ и Прудон¹¹, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье¹² уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, — Фейербах¹³. (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку,

произносил: Фиербах.) О Штраусе¹⁴ говорилось с благоговением.

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гёгг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, — не от сомнений, не от разочарований, о нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строящейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорожно:

— А вот как зароят в могилу (он знал, что у него чухотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели

этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастливыми», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастливые», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

СРЕДА

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целою массою иных благороднейших ощущений, — все-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что

установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалчивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу — в самое Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, сентиментальную, что ли, не разберешь, — но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора нобльменов¹⁵ и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не склонны ли наши присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой приниженности и забитости, — не склонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишняя некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», — разрешают иные, как случилось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по край-

ней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином — это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) — но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскою нравственностью (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство — злодейством и что нравственные основы

страны всё те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

— Даже хоть и предположить, — слышится мне голос, — что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) всё те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, — хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

— Конечно, есть правда в вашем замечании, — отвечаю я голосу, несколько повеся нос, — но ведь опять-таки русский народ...

— Русский народ? Позвольте, — слышится мне другой голос, — вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что *не надо* или *рано* было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких, — и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердость, как изволите вы насмеяться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, — мы и милуем». Так ведь это еще, мо-

жет быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», — рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном пред властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно, почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но... но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

— Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать — ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протес-

та и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет — так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их — так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

— Ну, вы, однако же, — слышится мне чей-то язвительный голос, — вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до «среды», то есть сплошь-то всем, — задумываюсь я, — но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проницающее...»

— Вот на! — хохочет язвительный голос.

— А что, если наш народ особенно склонен к уче-

нию о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

* * *

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастными», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, — до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей — идей русского народа — и принадлежит название преступления несчастием, преступников — несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш про-

возгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но *временно* — может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте — может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, «несчастные», гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы — сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое уступство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастьи преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшат-

нется от такого лжетолкования народ и назовет его изменною народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление — это два разные лица, но одной категории. Что же, если, приготовляясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастливым»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет «преступления!»»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решеных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слышал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и — «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви мо-

лящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, — о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, — легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущенного... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде — как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» — вот что он скажет *в конце концов*. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов¹⁶; на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господи, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до бо-

ли. Читаешь — там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». — «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и — почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясинной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите — и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» — ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения — одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не ворочается язык, чад и безумие в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще — с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как драгоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду — веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это *мой* хлеб», — чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлебца — поедят, не дадут — сидят голодом. Работу с нее спрашивал; все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений — музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди

родятся в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»?¹⁷ Я ведь не говорю, что была, — и было бы это очень смешно утверждать, — но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдалицы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», — кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, — баста! Отходит, садится за стол, въздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это *мой* хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую... А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и проямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом — важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «*Душа в душу жили*», — роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но *достоин снисхождения*».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но с «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достоин снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот.

Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

— Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целостности, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки, — согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

— Да подите! — восклицает вдруг давешний язвительный голос. — Ведь все это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Всё напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это мой хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» — это разве не то же самое, что и ручка под кпятком? Ведь почти то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда», — настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут, и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

ВЛАС¹⁸

Помните ли вы Власа? Он что-то мне вспоминается.

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.
На груди икона медная:
Просит он на Божий храм...

У этого Власа, как известно, прежде «Бога не было»;

...побоями
В гроб жену свою вогнал,
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал.

Даже и конокрадов, — пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки. Ух ведь какие грехи! Ну и грянул же гром. Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало ни меньше:

Видел света преставление,
Видел грешников в аду:

Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза,
Ефиопы — видом черные
И как углие глаза.

.....
Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол...

Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. «Но всего не описать», — продолжает поэт.

Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать.

О поэт! (к несчастью, истинный поэт наш) если бы вы не подходили к народу с вашими восторгами, про которые

Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать, —

то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за таких-то
в конце концов бабьих пустяков

Вырастают храмы божии
По лицу земли родной.

Но хоть и по «глупости» своей ходит с котомкою
Влас, но серьезность его страдания вы все-таки поняли;
все же вас поразила величавая фигура его. (Да ведь и поэт
же вы; не могло быть иначе.)

Сила вся души великая
В дело Божие ушла, —

великолепно говорите вы. Хочу, впрочем, верить, что вы
вставили вашу насмешку невольно, страха ради либераль-
ного, ибо эта страшная, пугающая даже, сила смирения
Власова, эта потребность самоспасения, эта страстная
жажда страдания поразила и вас, общечеловека и русско-
го *gentilhomme*'а, и величавый образ народный вырвал вос-
торг и уважение и из вашей высоколиберальной души!

Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол
И собирать на построение
Храма божьего пошел.
С той поры мужик скитается
Вот уж скоро *тридцать* лет,
Подаянием питается —
Строго держит свой обет.

.....
Полон скорбью неутешною
Смуглолиц, высок и прям,

(чудо как хорошо!)

Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.

.....
Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой все говорит
И железную веригю
Тихо на ходу звенит.

Чудо, чудо как хорошо! Даже так хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто вместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни¹⁹. А впрочем — не кривлялись вы и «на Волге», разве только немножко: вы и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нем, то есть не по бурлаке собственно, а, так сказать, по общечеловеку. Видите ли-с, любить общечеловека — значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека. Я нарочно подчеркнул неизмеримо прекрасные стихи в этом шутовском (в его целом, уж извините меня) стихотворении вашем.

Я потому припомнил этого стихотворного Власа, что слышал на днях один удивительно фантастический рассказ про другого Власа, даже про двух, но уже совершенно особенных, даже неслыханных доселе Власов. Происшествие это истинное и уже по одной своей необыкновенности замечательное.

На Руси, по монастырям, есть, говорят, и теперь иные схимники, монахи — исповедники и советодатели. Хорошо или дурно это, нужно ли монахов или не нужно их — про это в данную минуту не хочу рассуждать и не для того взял перо. Но так как мы живем в данной действительности, то ведь нельзя же выпихнуть из рассказа хотя бы даже и монаха, если на нем зиждется рассказ. Эти монахи-советодатели бывают иногда будто бы великого образования и ума. Так, по крайней мере, повествуют о них; я ничего не знаю. Говорят, что встречаются некоторые с удивительным будто бы даром проникновения в душу человеческую и умения совладать с нею. Несколько таких лиц известны, говорят, всей России, то есть, в сущности, тем, кому надо. Живет этот старец, положим, в Херсонской губернии, а к нему едут или даже идут пешком из Петербурга, из Архангельска, с Кавказа и из Сибири. Идут, разумеется, с раздавленной отчаянием душою, которая уже и не ждет себе исцеления, или с таким страшным бременем на сердце, что грешник уже и не говорит о нем своему священнику-духовнику, — не от страха или недо-

верия, а просто в совершенном отчаянии за спасение свое. А прослышит вдруг про какого-нибудь такого монаха-советодателя и пойдет к нему.

«И вот, — говорил один из таких старцев однажды в дружеской беседе наедине с одним слушателем, — выслушиваю я людей двадцать лет, и верите ли, уж сколько, казалось бы, в двадцать лет знакомства моего с самыми потаенными и сложными болезнями души человеческой; но и через двадцать лет приходишь иногда в содрогание и в негодование, слушая иные тайны. Теряешь необходимое спокойствие духа для подания утешения и сам вынужден себя же укреплять в смирении и безмятежности...»

И тут-то он и рассказал ту удивительную повесть из народного быта, о которой я выше упомянул.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях. Я еще из окна видел, как он полз по земле. Первым словом ко мне:

— Нет мне спасения; проклят! И что бы ты ни сказал — все одно проклят!

Я его кое-как успокоил; вижу, за страданием приполз человек; издалека.

— Собрались мы в деревне несколько парней, — начал он говорить, — и стали промежду себя спорить: «Кто кого дерзостнее сделает?» Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глаза на глаз:

— Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь. Хвастаешь.

Я ему стал клятву давать.

— Нет, стой, поклянись, говорит, своим спасением на том свете, что все сделаешь, как я тебе укажу.

Поклялся.

— Теперь скоро пост, говорит, стань говеть. Когда пойдешь к причастью — причастье прими, но не проглоти. Отойдешь — вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.

Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! Я положил на жердь.

— Теперь, говорит, принеси ружье.

Я принес.

— Заряди.

Зарядил.

— Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии».

Происходило это еще за несколько лет до прихода к старцу. Кто был этот Влас, откуда и как его имя — старец, разумеется, не открыл, равно как и покаяние, которое наложил на него. Должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше: «Сам за страданием приполз». Не правда ли, что происшествие даже весьма характерное с одной стороны, на многое намекающее, так что, пожалуй, и стоит двух-трех минут особенного разбора. Я всё того мнения, что ведь последнее слово скажут они же, вот эти самые разные «Власы», кающиеся и некающиеся; они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую. А потому всякая, даже малейшая, *новая* черта об этих теперь уже «новых людях» может быть достойна внимания нашего.

* * *

Во-первых, мне именно удивительно — удивительно всего более — самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязания в русской деревне: «Кто кого дерзостнее сделает?» Ужасно на многое намекающий факт, а для меня почти совсем даже и неожиданный; а я видывал-таки довольно народу, да еще самого характерного. Замечу тоже, что кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельствует о его достоверности: когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили.

Затем замечательна собственно медицинская часть

факта. Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и у крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека, — может быть, случай еще неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю.

Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговеем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такую же силою, с такую же стремительностью, с такую же жадной самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже

идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения. То есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он вздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу: русский пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского. Немцы — народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и никогда не плачет; он поет самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой пьяный как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буйнит. Всегда вспомнит

какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли. Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал, горько ругается, если ему не верят, и, чтобы уверить, в конце концов всегда зовет «караул». Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовет «караул», что в тайниках пьяной души своей наверно сам убежден, что он вовсе не «генерал», а только гадкий пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то и в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй, и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает попрек, и он мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до края, борясь с накапливающимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже большее, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою.

Кто натолкнул обоих парней на спор о том: «Кто делает дерзостнее?» — и какими причинами сложилась возможность подобного состязания — осталось неизвестным, но несомненно, что оба страдали — один принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно: или затаенная ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестная им самим и вдруг проявившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее; и вероятно, они были друзьями до сей минуты и жили в согласии, которое становилось, чем далее, тем невыносимее; но в момент вызова напряжение взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

— Не побоюсь ничего, сделаю все, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!

— Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода — разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на все пойдет, и искуситель его знал, что на этот раз серьезно говорено, впрямь пойдет.

Нет. Самые страшные «дерзости» кажутся искусителю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и в ее выборе выразилось целое мировоззрение народное.

Немыслимую? А между тем одно уже то, что он именно остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползала в душу его, потрясала ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он все давно уже, и ружье и огород, и держал только в страшной тайне — в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы, может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, проникало его душу изредка, манило его, а он робко подавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть всё пропадай! И, уж конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но — «был же и я на таком верху!..».

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но, не правда ли, любопытная душа, и, главное, из этого быта. В этом все ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя: виновнее или нет своей жертвы? Судя по кажущемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее или по крайней мере по вине; так что, вызывая жертву на «дерзость», вызывал и себя.

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единст-

венная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно.

И вот надругаться над такой святыней народной, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицаньем и гордостью — ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает! И заметьте, все это возросло почти до сознательной идеи.

Жертва, однако же, не сдается, не смиряется, не пугается. По крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, и он стоит на своем. Наступает уже не мечта, а самое дело: он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитой ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличенный на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем. Когда же тот встал и велел его отвести в острог, то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшею тут же убитою (его бывшею любовницею, которую он убил из ревности). Он нагнулся, поцеловал ее с умилением, заплакал и, не вставая с колен, еще раз повторил над нею, простирая руку, что он не виновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность.

Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того, было еще нечто совсем особенное — мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой. Он несомненно был, судя по крайней мере по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом еще могла вступить в борьбу; он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени малодушие? Вероятно, и то и другое вместе, в соприкосновении противоположностей. Тем не менее этот мистический ужас не только не порвал, но

еще продлил борьбу, и, наверно, он-то и способствовал привести ее к окончанию именно тем, что удалял от сердца грешника всякое чувство умиления, и чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей, хотя, может быть, и цепenea от страху до изнеможения. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ее мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болезненной злостью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверно, считал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочем, разорвать союз. Если бы их контракт был нарушен, то тотчас же возгорелась бы взаимная ненависть в десять раз сильнее прежнего и, наверно, произошло бы убийство: мученик убил бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, — начиная с состязания о «дерзости» и кончая отчаянием перед старцем.

Заметьте еще, что искуситель не открыл своей жертве всей тайны: она еще не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать с святыней, до самого того момента, как он велел принести ружье. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствуют об ужасном упорстве грешника. С другой стороны, и деревенский Мефистофель выказывает себя большим психологом.

Но, может быть, придя в огород, оба они уже не помнили себя? Парень помнил, однако, как заряжал ружье и наводил. Может быть, действовал лишь машинально, хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса? Не думаю: если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом видения; просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции, — и не до, а уж после выстрела. Нет, вероятнее всего, что сознание сохранялось все время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, все нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление ужаса, нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была несомненно одарена огромною душевною силой.

Обратим внимание на то, что зарядание ружья есть операция, во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по-моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей собою идеи. Обыкновенно до последней степени пораженные ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи, их поразивших: они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза как очарованные. Но парень зарядил ружье внимательно, он это помнил; он помнил, как потом стал наводить, помнил все до последнего момента. Могло быть и то, что процесс зарядания ружья был ему облегчением, исходом страждущей души его, и он рад был сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбарри²⁰ кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!»* В двадцать раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если б ей ее подарили, а все-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что зарядание ружья было для нашего грешника вроде как у Дюбарри «encore un moment», то, уж конечно, он бы не мог после такого момента опять

* «Еще минуточку, господин палач, еще минуточку!» (франц.)

обратиться к своему ужасу, от которого раз оторвался, и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы онемели руки и перестали бы слушаться, ружье бы вывалилось из них само собою, несмотря даже на сохранившиеся сознание и волю.

И вот в самый последний момент — вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения — все это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличии. Неимоверное видение предстало ему... все кончилось.

Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел не сознательно, не внезапным прояснением ума и совести, почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело Господа. Для него, для преступника, без сомнения, было делом Господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания.

Ну а другой-то Влас, оставшийся, искуситель? Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор, опять пьет и зубоскалит по праздникам: ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю, для сведения, для этюда.

Вот почему еще желательно бы: что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, не верующий, с высокомерною насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, — черт знает, может быть, из ученого наблюдения?

Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время все возможно предположить), да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у г-на Островского в прекрасной комедии «Не так живи, как хочется» вы-

шел даже очень плоховат. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного.

Конечно, интерес рассказанной истории, — если только в ней есть интерес, — лишь в том, что она истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьезные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой «кутеж» еще хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки — свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). Есть даже намеки на эту неожиданность, наклеиваются и теперь даже факты... Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова»²¹ в настоящий момент несомненна. Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.

ПО ПОВОДУ ВЫСТАВКИ

Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе. Но

все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить? По-моему, переведите комедию г-на Островского — ну, «Свои люди — сочтемся», или даже любую, — и переведите по возможности лучше, на немецкий или французский язык, и поставьте где-нибудь на европейской сцене, — и я, право, не знаю, что выйдет. Что-нибудь, конечно, поймут и, кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но по крайней мере три четверти комедии останутся совершенно недоступны европейскому пониманию. Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г-н Виардо (муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере), француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева. У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга и, сверх того, сам был поэт, хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща. (NB. Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» — произведение уже значительное.) Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу, что г-н Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь — посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, все комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые нелитературные моменты жизни), заешься вдруг самым неудержимым смехом про себя, — все это пропало, как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, ка-

жется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски, без сомнения, тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, все характерное, все наше национальное по преимуществу (а стало быть, все истинно художественное), по моему мнению, для Европы незнаваемо. Переведите повесть «Рудин» Тургенева (я потому говорю о г-не Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей, а о повести «Рудин» потому, что она наиболее из всех произведений г-на Тургенева подходит к чему-то немецкому) на какой хотите европейский язык — и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемою. «Записки же охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и незнаваемее. Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное... Вернее же (скажут многие), что европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу

всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы, для каких-нибудь целей (а таковые были), и положившие на это большой труд, несомненно уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях по крайней мере. Все это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов; на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России; на их видимую склонность судить нас всегда к худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении враждебности к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и — вечный, известный, давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы... Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил таращимся доказать, что мы европейцы...

Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. «Эта скудная природа»²², вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности, нам мила, однако, и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»): на первом плане болото и болотная поросль, на заднем — лес; оттуда — туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас как будто пронизает все-го, вы почти ее чувствуете, и на середине, между лесом и вами, две белые березки, яркие, твердые, — самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!.. Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться.

Про исторический род и говорить нечего; в чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, а стало быть, Европу и не удивим; даже батальным родом не очень удивим; даже переселение черкесов (огромная пестрая картина, может быть с большими достоинствами, — не могу судить) не произведет, по-моему, за границею слишком сильного впечатления. Но жанр, наш жанр — в нем-то что поймут? А ведь у нас он вот уже столько лет почти исключительно царствует; и если есть нам чем-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то, уж конечно, из нашего жанра. Вот, например, небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа. Посмотрите: комнатка у мещанина аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами и, должно быть, тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток; скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любители соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, шелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что все это «темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту), а между тем оба они, видимо, уже раскисли от наслаждения — самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает трель... Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной, но вы знаете, что он «страдает» не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазвавший их слушать и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремонном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то

есть по карману, конечно, личность ничтожная; но теперь у него соловей, и хороший соловей, а потому он смотрит гордо (как будто он это сам поет), обращается к купцам даже с каким-то нахальством, с строгостью (нельзя же-с)... Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что «уж очень хорош у него соловей!». Чай кончится, и начнется торг... Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец <...> Может, кто и растолкует, в чем дело, и они узнают, что у русского купца средней руки две страсти — рысак и соловей, и что потому это ужасно смешно; но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся; вспоминаем про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще. Я ведь эту картинку только для одного примера поставил. Но ведь что всего досаднее — это то, что мы-то подобную картинку у немцев, из их немецкого быта, поймем точно так же, как и они сами, и даже восхищаться будем, как они сами, почти их же, немецкими, чувствами, а они вот у нас совсем ничего не поймут. Впрочем, может быть, для нас это в некотором смысле и выгоднее.

Ну вот в эстонской или лифляндской каюте игра в карты — это, конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующего в игре; в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна; но не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников». Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется... Что за прелесть! Конечно, растолковать — так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слы-

шим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы всё только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили.

Не знаю, как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского. По-моему, это уже не жанр, а картина историческая. Я пошутил, конечно, но присмотритесь, однако: больше ничего как певчие, в некотором роде официальный хор, исполняющий за обедней концерт. Всё это господа в официальных костюмах, с гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, например, в этого господина с бакенбардами; ясно, что он, так сказать, переряжен в этот совершенно не гармонирующий с ним костюм и носит его лишь по службе. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось, с патриархальных времен, но тут эта переряженность как-то особенно в глаза бросается. Вы такого благообразного чиновника привыкли видеть лишь в вицмундире и в департаменте; это скромный и солидный, прилично обстриженный человек среднего круга. Он тянет что-то вроде известного «уязвлен!», но и «уязвлен» обращается, глядя на него, во что-то официальное. Ничего даже нет смешнее, как предположить, чтоб этот вполне благонамеренный и успокоенный службою человек мог быть «уязвлен!» Не смотреть на них, отвернуться и только слушать, и выйдет что-нибудь прелестное; ну а посмотреть на эти фигуры, и вам кажется, что псалом поется только так... что тут что-то вовсе другое...

Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его попри-

ща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, — поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное», — поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для *его же целей*, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда²³, а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по-видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? какая бурда понятий и предвзятых ощущений? В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят «за праздное любопытство», давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглухнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова²⁴ — решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хо-

рошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова. Но что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности... да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например, маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, приившая, чтобы свидеться с несчастным мужем, столько трудов, проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая» (что, впрочем, совсем уже невозможно), — знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великодушный порыв гражданского чувства, и так сделает всякая женщина решительно. Конечно, замечание мое пустяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написана, ну, например, чтобы к первому января отвязаться... Впрочем, г-н Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собою много прекрасных стихов. Это поэт страдания и почти заслужил это имя. Ну а новеньких все-таки жаль: не у всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной мысли в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чахотки и смерти. Что делать: мундир-то ведь так красив, с таким шитьем, блесстит... Да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден.

Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина, то тотчас же испугался. Даже самый сюжет ужасен: у нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. Я так и приготовился их всех встретить в мундирах, с известными ярлыками на лбу. И что же? К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!» И уж это одно можно поставить в величайшую за-

слугу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку. Мальчишка серьезничает, кричит, даже ссорится — удивительная фигура, почти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком, понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица не видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонки... и — и знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, — именно вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какою любовью!) к этому мужичонке, или к этому мальчишке, или к этому плуту-подлецу солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не любя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу... Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты — не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины. Теперь ведь это почти картина! Да и отвратительны все мундирные воротники, как ни расшивай их золотом! Впрочем, что тут разглагольствовать; да и картину рассказывать нечего; картины слишком трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры гоголевские. Слово это большое, но я и не говорю, что г-н Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр еще до Гоголя и до Диккенса не дорос.

Некоторую утрировку можно заметить, впрочем, и у г-на Репина: это именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть не могут. Эта рубашка, например, нечаянно попала в корыто, в котором рубили сечкой котлеты. Без сомнения, бурлаки костюмами не блистают. Всем известно, откуда этот народ: дома в

конце зимы, как не раз извещали по крайней мере, корой питаются и идут по весне к хозяину тянуть барку, по крайней мере иные, из-за одной только каши, почти без всякого уговора. Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак, навалившись на нее с голодухи, задушится, «лопнет». Лекаря взрезывали, говорят, этих людей и находили одну только кашу до самого горла. Вот это какие иногда субъекты. Но все же невысказанное слово золотое, тем более что такую рубашку и надеть нельзя, если раз только снять: не влезет. Впрочем, в сравнении с достоинством и независимостью замысла картины эта крошечная утрировка костюмов ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о г-не Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтоб это был очень еще молодой и только что еще начинающий художник. Несколько строк выше я поспешил оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, г-н Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко; не возгордитесь заслуженным успехом. Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но чего-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Ведь и Диккенс — жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внука» в романе «Лавка древностей»; нет, нашему жанру до этого далеко; он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях». «Соловьев» и «Охотников» у Диккенса множество на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по некоторым признакам, «Пиквик» и «Внучка» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников — идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в единый истинный и законный исход всякого дарова-

ния. Мне кажется, что художник как будто предчувствует, что (по понятиям его) придется ему непременно «идеальничать» в историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как она есть», — говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, готовится, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова²⁵: иной художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.

Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. (Сделаю *nota bene*: мы говорим: «видел собственными глазами». Ведь Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только в многообразии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так же

точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс и взял только идеал действительности.) Между тем у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например в искусстве, конечно, не та, что текущая (жанр), — именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если воображать прошедшее событие и особенно давно прошедшее, завершенное, историческое (а жить и не воображать о прошлом нельзя), то событие *непрерывно* представится в законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его развития, еще и не происходившего в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что, по его понятиям, значит лгать. Чтоб избежать мнимой ошибки, он придумывает (случаи бывали) смешать обе действительности — историческую и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр. Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, — но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?

Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут все фальшивое.

С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут же все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей «Кесарево кесареви»; тогда многое бы стало тотчас понятно. В картине же г-на Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом.

* * *

Однако я и забыл о выставке. Впрочем... Какой же я репортер; я хотел лишь сделать несколько отметок «по поводу». Тем не менее редакция обещает поместить подробный отчет о картинах наших художников, отправляющихся на венскую выставку; или, может быть, еще лучше, постарается упомянуть о них уже с выставки, уже с отчетом о впечатлении, которое они произведут в свою очередь на собравшихся иностранцев.

МЕЧТЫ И ГРЕЗЫ

1

Мы в прошлом № «Гражданина» опять заговорили о пьянстве, или, скорее, о возможности исцеления от язвы всенародного пьянства, о наших надеждах, о нашей вере в ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольной грусть и сомнения приходят на сердце. Конечно, за текущими важными делами (а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми) некогда и глупо думать о том, что будет через десять лет или к концу столетия, то есть когда нас не будет. Девиз настоящего делового человека нашего времени — *après moi le déluge**. Но людям праздным, непрактическим и не имеющим дел, право, прости-

* После меня хоть потоп (*франц.*).

тельно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «...все эти события меня так убили и потрясли, что я...» и т. д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит — гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не естественно выходит. Спешу, однако, оговориться: я единственно только с западной точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился²⁶. Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно; но согласитесь тоже — что же это за такие начала, которых даже сам г-н Пыпин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению — обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам

очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, — в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.

Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы все это защитить (по моему, штатскому, впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какую-нибудь всесожигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети уст-